

## ТИШИНА

Трудно приходится тому кто не умеет плакать.

Страдание, боль, досаду, гнев все уносят слезы. И гот, кому не дано выплакать печаль свою, словно бы весь застывает, и долго-долго грусть владеет ею сердцем.

Наверное, поэтому старые люди творят: поплачь, облегчи Душу.

Мудрые слова!

Талибджан не умел плакать. Нет, он плакал, но где-то глубоко в сердце беззвучно, без слез. И эти непролитые слезы были для него вечной мукой. За неделю волосы Талибджана стали белыми, как крыло белого голубя. Пришло время послушать докторов.

И еще вспомнил Талибджан о своей ее с I ре. Вроде как сгнула она в далеком кишлаке. Талибджан не видел ее тридцать с лишним лет. Сколько у нее детей? Где работает муж?.. Он ничего не помнил, а скорее всего и не знал.

Но был родной кишлак. Гам он вырос. Гам была улица его детства. И еще река, где он купался, долина... Ему помнилось, что долина была удивительно спокойная, а река шумная, бурная,

Быть может, там обречет он немного тишины? Она так нужна ему!

Он взял небольшой чемоданчик и отправился в путь.

Широкий сай разделял кишлак на две части. У окраины кишлака сай привольно разливался и образовывал десятки островков.

Когда-то в детстве Талибджан, наплескавшись вволю в воде, зарывался в песок на каком нибудь островке и подолгу лежал, отог-реваясь на солнце. Лежал на спине и смотрел на небо. Небо тот да было синее, чем сейчас. Белые пенистые облака медленно проплывали над кишлаком. У из камышей доносилось кваканье лягушек и кряканье уток.

И лежа вот так, на спине, устремив взгляд в небо, Талибджан слов-но облетал весь мир. А ночью он чуть ли не до рассвета любовался, не отрываясь, мерцающими звездами.

И вот сейчас он стоит на тропинке своего детства. Но дороги назад нету! Он уже не тот босоногий, обожженный солнцем беззаботный мальчишка, а седой, пожалуй, даже старый Талибджан. и лицо его покрыто тяжелыми морщинами.

Он смотрит на реку. Увы! Не стоит искать глазами хотя бы смутные следы далекого детства.

Сколько шалостей и веселья унесла с собой эта река

Здесь он вырос. Здесь его посетили первые надежды, первые на дежды, первые мечты. На этих тихих и пыльных улочках, что вон гам, за рекой, он узнал свою первую любовь радостную, как песня, неза-бываемую, как стихи.

До чего же далеки, невозможно далеки те дни! Талибджан долго, очень долго стоял на мосту, охваченный воспоминаниями

Только к вечеру добрался до дома сестры.

Тогда, в те далекие времена, сестра была девчонкой. На два года моложе его. Когда же он видел ее в последний раз? Тридцать четыре года назад это была полногрудая девушка, и каждая черточка ее лица и глаза светились радостью, сознанием своей привлекательности. Такой она и

осталась в памяти Талибджана.

«Какая она сейчас?»—думал он.

Талибджан толкнул калитку и нерешительно шагнул во двор. Мальчишка лет четырнадцати воззрился на незнакомого мужчину. Вытер тряпкой перемазанные маслом руки, поднялся.

В противоположном углу двора трое ребят, сидя на корточках, что-то мастерили. А на айване, спиной к вошедшему Талибджану, сидела старуха. Талибджан окинул взглядом двор, дом, айван. Сердце его вздрогнуло и сжалось, в груди стало тесно и горячо.

А может, сестра уже давным-давно переехала и здесь живут чужие люди?

Паренек подошел к Талибджану, поздоровался.

— Это дом Зайнабхон? — глухо спросил Талибджан.

— Да, входите, пожалуйста.

Талибджан облегченно вздохнул.

— А кем вы приходитесь Зайнабхон?

— Внук. А вы кто?

Талибджан не успел ответить. Старуха на айване вдруг окликнула паренька:

— С кем это ты разговариваешь, сынок?

Господи! Это же ее, ее голос! Родные, теплые, далекие, полуза-бытые нотки... Талибджан бросил свою поклажу и побежал к айвану. Заслышав шаги, старуха заволновалась, попыталась было встать.

Это была мачеха Талибджана.

«Сколько же ей? — подумал Талибджан, разглядывая иссохшую фигурку с тоненькой шейкой.— Должно быть, за девяносто?.. Да, за девяносто».

Когда Талибджан покинул кишлак, мачехе было около шестидесяти. Вот она, жизнь человеческая!

Талибджан приблизился к айвану и, наклонившись, обнял старуху. Он уткнулся лицом ей в плечо и на мгновение замер.

— Кто ты? Я слышу знакомый запах.

Старуха была слепа. Она осторожно ощупывала плечи Талибджана, гладила его, но не узнавала.

Скажи мне, кто ты? Уж не Талиб ли ты?.. Сынок, я чую запах Талибджана.

У Талибджана сжалось сердце. Старуха гладила его по голове, плечам...

— Где же ты скитался, сынок? — говорила она, как маленькому.— Где бродил, когда глаза мои были зрячими, глупенький?

Талибджан не отвечал, охваченный давно забытым чувством. Ле-гонько отстранив Талибджана, старуха повернулась к правнукам.

— Что же вы ослепенели,— сказала она,— зовите бабушку, бегите скажите отцу. Дядя ваш приехал...

Во дворе поднялся гам, ребята бросились разыскивать бабушку, сестру Талибджана.

Ишь, озорники, дай им бог здоровья,- улыбнулась старуха. Она нащупала чайник, завернутый в безрукавку, и ловко налила чай в пиалу. Где ты, сынок? Выпей ка. Я заварила с корицей. Пей, сынок.

Талибджан взял из ее рук пиалу. И вдруг вспомнил, что и тогда, тридцать с лишним лет назад, мать заваривала такой же чай - с корицей. Сейчас он глотал эту ароматную влагу и с удивлением чувствовал: то, что было тогда,

давно в детстве, живет в нем и поныне.

Запыхавшаяся женщина лет пятидесяти в туго повязанной золотистой косынке на голове подбежала к Талибджану, бросилась ему на шею.

Брат... братец!.. Приехал!

Это была его сводная сестра Зайнаб.

Талибджан с грустью глядел ей в лицо.

— Вот видишь, приехал...

Ребята с интересом, не отрываясь глядели на них.

— Чего стоите? обернулась к ним Зайнаб. - Это же ваш дядя. Ну-ка зовите всех!

Ребята давным-давно известили всех родных о приезде дяди, и во двор один за другим уже входили мужчины.

Три дочери Зайнаб были замужем, у каждой из них росли дети — у одной четверо, у другой пятеро. А у старшего сына — шестеро.

Пришел муж Зайнаб, подойдя к Талибджану, обмял его.

Во двор за тащили барана и, подведя его к старухе, попросили благословения. Старуха долго что-то шептала и наконец провела ладо-нями по лицу. Барана зарезали у ног гостя.

Наступил вечер, в домах зажглись огни. Зайнаб накрыла дастархан прямо во дворе, под деревьями. Старший зять бережно перенес к столу старуху.

Собрались соседи, друзья.

Зайнаб накинула на плечи Талибджана новенький стеганный халат, подарила тюбетейку, села она напротив него и все глядела, глядела, думая о чем-то своем, далеком. Она радостно смеялась, но Талибджан видел, как слезы застилают ей взор. Она так и смеялась со слезами на глазах.

И Талибджан думал о чем-то своем, все время молчал. Он не умел плакать и почти не смеялся.

Наступила ночь. Зайнаб постелила брату тут же во дворе, на сури, рядом с мужем. Тот, утомившись за день, сразу уснул, а Талибджан лежал с открытыми глазами и видел над собою звезды звезды своего детства. Они по-прежнему перемигивались.

Было очень тихо. Небо звездное, ясное, как когда то давным- давно.

Круглая, словно медное блюдо, луна по-хозяйски прогнала стайку темных облаков и засияла на небесах. Казалось, это сияние проникает прямо в грудь, хочет согреть окаменевшее сердце Талибджана. В застывшей тишине было слышно, как сонно шевелятся воробьи в ветвях старого карагача.

И вдруг, нарушая тишину, издалека донесся взрыв: ударившись о стены гор, раскатился взволнованным эхом! Второй взрыв... третий...

... Еще не занялся рассвет, а Зайнаб уже занималась хозяйством — замешивала тесто для завтрака, хлопотала возле тандыра.

Будут свежие лепешки», — обрадовался, как когда-то в детство. Талибджан. Он шевельнулся. Сестра заметила.

Не спится, брат, а? Это гору взрывают. Водохранилище строят. Ты лежи, подремли еще.

Небо прочертили молочно-белые лучи, сверкнула молния. Яркие всполохи электросварки то зажигали, то гасили гигантскую свечу — верхушку могучей чинары. Откуда-то донесся скрежет, — должно быть, это подъемный кран

или экскаватор. Шум этот не раздражал Талибджана. Наоборот, радовал почему-то.

Он лежал и ждал новой вспышки.

До самого утра небо озаряли пронзительные лучи, и всякий раз «вспыхивала» верхушка чинары. Снова и снова металлический скрежет разносился по округе.

Талибджан лежал и думал, думал...

Когда он покинул родной кишлак, ему едва исполнился двадцать один год. Было это ровно тридцать четыре года назад. С тех пор он успел закончить институт; воевал, вернулся с фронта; закончил в Москве аспирантуру.

Побывать на родине все было недосуг. Порой ему думалось, что здесь, в кишлаке, у него, пожалуй, и нет родных. Мачеха — добрая, славная, но мачеха. Сестра — сводная. Кто его тут ждет?

Подумать только!... Когда Зайнаб подросла, мачеха хотела выдать ее замуж за Талибджана. «Зачем девушке уходить в чужой дом?»—говорила она. Талибджану было всего четыре года, когда умерла его родная мать. Отец женился на вдове с двухлетней дочкой.

Вот эта девятилетняя старуха и есть та самая вдова, которая пришла к ним в дом. А Зайнаб — та двухлетняя девочка. Они росли вместе, Талибджан и Зайнаб, и он любил ее и считал своей сестрой. Как раз тогда, когда Зайнаб стала невестой, он ушел из кишлака.

Он вернулся с войны, но не вернулся в кишлак. От мачехи получил письмо. Талибджан тогда только что женился и собирался ехать за границу. И, конечно, снова не выкроил времени побывать в кишлаке.

Каких только не повидал с тех пор стран, где только не был! Ань-Шаньский металлургический комбинат, строительство афганской бетонной дороги, Асуанская плотина...

Талибджан вспоминал, вспоминал... всю свою жизнь, счастливые и черные дни.

Родился сын. Там, на Ань-Шаньском комбинате, он был совсем малышом. На Асуанской плотине — уже подростком.

Когда строили шоссейную дорогу, у сына уже ломался голос и начали пробиваться усы. Талибджан с женой решили отправить его на родину, заканчивать советскую школу.

А потом сына призвали в армию.

А потом!.. Потом жена попала в автомобильную катастрофу. Талибджан похоронил ее на чужбине.

Сколько трудностей вынесла она вместе с ним! Как мечтала увидеть сына! Некоторое время спустя Талибджан вернулся на родину. Сын все еще служил в армии. Талибджан не сообщил ему о смерти матери. Все не решался.

Вот и вся жизнь. Вот и все, что выпало на его долю.

И сейчас, глядя на небо, такое до боли знакомое, он вспоминает день за днем всю свою жизнь...

Когда он открыл глаза, солнце стояло уже над головой. Мачеха сидела около него и ждала пробуждения. Возле старухи примостились правнуки и, не шевелясь, во все глаза глядели на нового дядю.

— Вставай, сынок.

Ее голос снова напомнил детство и болью отозвался в сердце. Ему захотелось, как в детстве, обнять ее, уткнуться лицом в ее платье, рассказать о своих бедах. Но ничего этого он не сделал. Просто приподнялся с постели.

На вершине горы сияли солнечные лучи.

Своим мудрым сердцем старуха почувствовала, что у него тяжело на душе, что он страдает. За чаем она сидела против Талибджана и говорила тихим голосом:

— Я знаю, сынок, у тебя горит душа. Расскажи мне.

Талибджан с трудом проглотил глоток чая.

— Жену, невестку вашу, похоронил в чужой земле,— глухо сказал он.— Сын погиб...

Старуха помолчала. От старости она уже не могла плакать. Затем придвинулась к нему ближе, опираясь о тюфячок. Протянула руку, на ощупь нашла его голову, погладила.

— Так уж устроен мир. сынок. На долю одних — счастье, других — беда.

Что делать? Хоть и слепая я, а чувствовала — тяжело у тебя на душе.

Зарыл свое счастье в чужой земле... Что поделаешь, судьба! — Еще помолчала.— Скоро придет зять. Он хороший. Сходи с ним в горы, развейся.

Талибджан поднял старушку и перенес на айван. Она была легкой, как птичка.

А какая дородная, статная была она тогда, в годы его детства. Он вспоминал: она носила серебряный браслет, и он был едва заметен на ее полной налитой руке. А теперь руки у нее тоненькие, как палочки.

— Принеси сюда мой чай с корицей, сынок.

Талибджан взял с сури чайник, покрытый детской тубетейкой.

— Теперь ступай, походи немножко, пока зять не придет за тобой. Постой, забыла... Сядь-ка.

Талибджан сел. Старуха прочла коротенькую поминальную молитву, упомянув жену и сына Талибджана, провела руками по лицу и отпустила его.

Талибджан вышел на улицу.

Солнечные зайчики играли на заборах и шиферных крышах. По гладкой асфальтированной дороге сновали самосвалы, от их покрышек на дороге оставались черные жирные следы.

Талибджан бродил по улицам кишлака. Людей почти не видно, все на работе.

Он побрел туда, где так любил лежать мальчишкой. Снял туфли, подвернул брюки до колен и, перейдя речушку, очутился на островке. Вода текла спокойно и лишь там, подальше, билась о камни. Даже здесь был слышен шум моторов. Из глубины гор отчетливо раздавался лязг металла, гул экскаватора. Талибджан лег на песок и вновь уставил взгляд на небо. Вот оно, его родное небо,— безмятежное, прозрачное. Облака, тянущиеся с запада, нежные, чистые, как душа младенца, мягкие, как грудка белого зайчишки.

И все время — гул моторов.

Талибджан приехал в родной далекий кишлак искать тишины. Но и здесь ее

нет. Проснулись дремлющие чинары и веками спящие утесы. И даже речушка, которая тихонько унесла вниз по течению его детство, даже усталые воды ее тоже возвращают теперь лопасти моторов. И это обиталище покоя и тишины похоже нынче на кипящий котел.

Талибджан пролежал на песке почти до самого вечера. Ему не хотелось покидать этот уголок, где свободно гулял ветер и все еще ютились воспоминания детства.

Уже в сумерки он взял в руки ботинки и пошел босиком по пыльной дороге. Шел легко, словно наконец-то обрел душевный покой, оставив тревогу и горестные мысли на этих песчаных островках. И, проходя по улицам кишлака, Талибджан думал о том, что теперь он знает, как развязать тугой узелок, стягивающий сердце.

Он искал тишины. Но там, где тишина, нет жизни.

Жизнь угасает в тишине. Тишина разрушает не только камни, но и человеческую душу. Стоячая вода загнивает, дерево сохнет, тишина зовет, привлекает и душит жизнь. И только в настоящей жизни человек обретает покой. Наверно, в этом-то и есть смысл жизни.

Утром Талибджан верхом отправился в горы — туда, где строилось водохранилище.

Где-то далеко, почти на самой вершине, показались два всадника. Один из них приподнялся на стременах. Это—Талибджан. Он смотрит на родной кишлак.

Там, внизу, шумит вода, шумят деревья. А за горами — шум экскаватора, грохот взрывов, которыми рвут горную породу. Это и есть кусочек живого мира, изгнавшего тишину.

Талибджан хлестнул коня. Конь пустился тяжелым наметом к вершине горы.

### **Колыбельная (рассказ)**

Возвращаясь с работы, Озода не стала садиться в трамвай, решила идти по многолюдной тенистой улице.

Воздух благоухал весенними ароматами. С веток цветущих абрикосовых деревьев, свисающих через заборы дворов, белыми хлопьями осыпались лепестки и весело плавали в журчащих арыках.

Вот уже пять лет Озода не была здесь: и улица, и деревья, и журчащие арыки — самая что ни на есть живая память о ее счастливых мгновениях — когда душа пылала любовью, когда шагнула в самостоятельную жизнь, когда она впервые под сердцем почувствовала другую жизнь.

Нет, не воспоминания о той любви, не весенний пейзаж побудили ее снова пройти по этой улице. Когда Озода свернула сюда, она была во власти какой-то таинственной силы, которой, сама того не осознавая, покорилась.

Озода не задумывалась о том, по какой улице идет, знакома ли ей она. Скоро она придет домой. Наверное, ее муж Хамиджан вернулся с работы. Как всегда он встретит супругу в хорошем расположении духа. До чего же красивые у него глаза. Сколько раз за эти три года она вглядывалась в них, сколько улады, счастья подарили Озоде эти искрящиеся сквозь длинные ресницы черные глаза. Вот и сейчас он терпеливо дожидается ее возвращения.

Именно этот взгляд полный любви и нежности для Озода невыносим. В последние дни в нем появились признаки скрытой душевной боли. Озода знает, от чего эта боль. Но утешить своего мужа, глядя в его грустные глаза, она не в силах. Уже пять лет она нестерпимо страдает из-за одного проступка, который совершила по глупости и легкомыслию. Ах, если бы этого не случилось... Может быть, по-другому воспринимала бы она буйно зеленеющую весеннюю листву, звучащий вокруг задорный смех.

Зажглись уличные фонари. Тут и там из окон домов на тротуар падал свет, накрывая его белой простыней. На соседней улице, на дуге с шумом проезжающего трамвая сверкнула яркая вспышка и, отражаясь на сводах высоких зданий, тут же угасла.

Озода, ступая по лепесткам урюка, мысленно представила печальные глаза мужа.

Невольно вздрогнув, опустила голову... Как тяжело и досадно бывает возвратиться к оставшимся позади неприятным воспоминаниям...

Как же она была счастлива! Глядя в ночное небо, думала о Мураджане. С трепетом ждала всякий завтрашний день, сулящий встречу с ним.

Волнительное ожидание у порога ЗАГСа, свадьба, звон бокалов, музыка, песни и, наконец, сладостные и безмятежные дни вместе...

Мурад возвращался из экспедиции с гор обросшим, загоревшим, похудевшим. К приезду мужа Озода топила баньку, расставляла принадлежности для бритья у большого зеркала, готовила выглаженную одежду и накрывала стол, не забывая наполнить голубоватый хрустальный графин его любимым вином.

В один из таких дней Мурад застал жену расстроенной. Баня не топлена, стол не накрыт.

– Что случилось? – не отрывал он глаз от покрасневших век жены.

Не ответив, Озода ушла в другую комнату. Мурад поторопился за ней.

– Ну, же, что стряслось?!

Озода, закрыв глаза полные слез, ответила:

– Я беременна.

Мурад растерялся.

– Это правда?! – он схватил ее в охапку и закружился по комнате. Глаза искрились от восторга, сильно билось сердце. – И что тебя так огорчает? Будущий ребенок так сблизил его с Озодой, словно Озода и Мурад стали

единым целым.

– Ну, что же ты плачешь? Ведь...

От радости он не находил нужных слов.

– Нет! – сказала Озода, – не хочу. Я еще совсем молода, к чему мне ребенок? – И плача тихо добавила: – Ты все время в горах, а я должна сидеть с ребенком?

– Если хочешь, попросим помочь мою маму, или сестренку, вот закончу диссертацию...

Озода хмуро посмотрела на мужа, этот взгляд пылал гневом и даже ненавистью. Привыкшая к украшениям, развлечениям женщина видела в ребенке помеху.

Озода была очень хороша собой. Любила модную одежду, танцы, театр, развлечения. И еще не родившийся ребенок словно уже лишал ее этих наслаждений.

Мурад устало опустился на стул. Схватился руками за голову и задумался. Потом поднялся, закурил и, сцепив руки за спиной, начал ходить по комнате. Подошел к жене, которая сидела на краешке дивана и всхлипывала, и долго стоял задумавшись. Потом сел на корточки возле нее и, поглаживая ее волосы, начал говорить с болью в сердце:

– Озода, милая, подумай хорошенько.

– Я подумала, прерву беременность.

– Что?!

– Да!

– Это первый ребенок. Нельзя, искалечишь себя на всю оставшуюся жизнь!

– Ну и пусть... Будь что будет.

– Значит так?

Мурад вскочил с места. От удара кулаком по столу зазвенели бокалы, вдребезги разбилось стекло на его золотых наручных часах.

В комнате наступила мертвая тишина. Проникающий из открытой форточки ветерок задумчиво теребил занавеску, развевая повисшие клубы сигаретного дыма.

Мурад подошел к жене и упал на колени:

– Озода, прошу, не делай этого. Можешь делать все, что угодно, только не это. Готов всю жизнь стоять перед тобой на коленях, умоляю, не делай этого.

– Разговор окончен. У меня нет желания гробить свою молодую жизнь, ухаживая за ребенком.

– Ты так решила, да?! – Глаза Мурада сверкнули злостью. – Значит так, да?! Тогда... – Мурад не успел закончить.

Озода дерзко посмотрела в глаза мужу:

– Я все сказала. Если не устраивает, уйду.

– Потом будешь локти кусать, одумайся, Озода!



Она покачала головой.

– Тогда я с тобой...

– Хочешь сказать, не могу жить, не так ли?

– Так... сама подумай...

Супруги долго смотрели друг на друга без единого слова. Озода встала и пошла в другую комнату. Когда она появилась переодетой с дорожной сумкой в руке, Мурад все еще сидел без движения. Озода вышла на улицу, оглянулась на ворота дома, куда она вошла со всеми почестями, где провела в семейной идиллии счастливые дни, и стремительными шагами удалилась...

После того, как Озода ушла, Мурад три раза приходил к ней, умоляя. И только тогда, когда она избавилась от ребенка, у него словно вырвали часть его сердца. Оставив сестренку присматривать за домом, он уехал в длительную экспедицию.

Врачи сказали Озоде, что она никогда не сможет забеременеть. Но она не придавала этому никакого значения. Прошло два года... Она вышла замуж за учителя Хамиджана.

В этот весенний вечер, глядя на поблескивающие в электрическом свете лепестки абрикоса, Озода задумалась о своей жизни, о своем прошлом. Она впервые так здраво оценила свой поступок. Грустно вздохнула. Много воды утекло, и повернуть течение назад нельзя. Губы ее невольно шептали «злодейка, злодейка». Вдруг послышался чей-то незнакомый голос. Озода остановилась и огляделась. Из открытого окна дома напротив слышался женский голос, женщина пела колыбельную.

Это был когда-то ее дом, ее первый дом! Она даже не заметила, как перешла на противоположную сторону улицы. Посмотрела внимательнее: да, это ее первый дом – дом Мурадджана. Какая-то колдовская сила привела ее сюда. «Может быть, в домовоей книге до сих пор значится мое зачеркнутое имя», – подумала она. Через окно окинула взглядом комнату, все на месте. Только вот с потолка свисает детская люлька. Молоденькая женщина, качая ее, поет колыбельную. Ее лицо исполнено материнского счастья. В тихой колыбельной отразились мечты, пожелания счастья, светлого будущего своему ребенку... А Мурад стоит у зеркала, у того самого зеркала, которое Озода когда-то поставила своими руками.

Он подошел к окну, потряс гроздь цветков обильно цветущей акации и вдохнул аромат с ладони. Запах акации почувствовала и Озода.

Светлое окно этого дома было подобно киноэкрану, на котором было все, что происходило в комнате.

«В его волосах появилась проседь», – подумала она.

Много раз гладила Озода черные, ниспадающие на лоб волосы, теперь уже с проседью.

В ее глазах заблестели слезы. Женщина, когда-то жестоко прогнавшая свое

счастье, сейчас горько плакала, укоряя себя. Она вспомнила того Мурада, каким он был пять лет назад.

Как он на коленях умолял тогда, предупреждал: станешь калекой. Теперь... Я сама погубила свое счастье. Нет мне прощения. И сама себя никогда не прощу.

Мурад опустил занавеску.

Ярко освещенная комната будто спряталась за тюль.

За занавеской было видно, как легко качается колыбелька, ее тень двигалась по тюлю, и слышно было, как женщина тихим голосом поет колыбельную.

С большим трудом Озода заставила себя отойти от окна. Над старыми тополями величественно поднималась луна.